

преподаванием отечественного языка, которое предполагает в ученике умение говорить на родном языке и стремится не только к дальнейшему развитию этого умения (цель практическая), но и к тому, чтобы довести до сознания ученика тот путь, по которому принуждена направляться его мысль именно в силу того, что он говорит и думает на отечественном языке. Когда мы говорим, что слово «стол» означает вещь, а «стоит» — действие, этим мы указываем на то, что, по свойству нашего языка, каждая наша мысль распределяется по этим категориям вещи, действия, признака и проч., и как бы кто ни старался направить мысль не по этой колее, она принуждена идти по ней. Эта черта языка — национальная, и если у немцев и других западных народов встречаются такие же или соответствующие категории, то это потому, что немцы и русские — ближайшие родичи; стоит же взять, например, татар или финнов, и увидим, что мысль у них идет иным путем. Из сказанного мы можем вывести заключение о роли языкознания в ряду других наук о человеке. По отношению к ним — языкознание есть наука основная, рассматривающая, исследующая тот фундамент, на котором построятся высшие процессы мысли, как научного характера, так и художественного.

Говорить о пользе языкознания излишне, ибо эта польза исчерпывается тем, что знание чужого языка открывает нам «тайники» чужой души, ее мелкие изгибы. Гораздо труднее говорить о практической, осязаемой пользе, потому что языкознание — наука новая, молодая и, стало быть, результаты ее не успели накопиться в таком количестве, чтобы их польза, воздействие бросались в глаза всем и каждому. Правда, мы могли бы ответить обычной истиной, что языкознанием следует заниматься не ради какой-то практической пользы, а для того, чтобы разяснить многие вопросы высшего порядка, требующие от нас разъяснения. Так, некоторые открытия, сделанные греками в области астрономии и многие века не находившие себе практического применения, лишь в позднейшее время послужили тем благодатным материалом, на котором стали строиться законы, управляющие Вселенной, и очевидная польза их, конечно, никем не оспаривается.

Самая главная заслуга языкознания — это участие в образовании понятия о человечестве, и самым крупным вкладом, сделанным современным языкознанием, было, бесспорно, то, что никогда еще понятие о человечестве не было столь ясно, определено и широко, как теперь, и никогда еще не было состояние мысли до такой степени противоположно тому взгляду, который выразился, например, в слове *βάρβαρος* («чужой», др.-греч.). Что же касается до того, какие практические выводы можно сделать из понятия о человечестве как совокупности собирательных единиц, в которой все члены нужны, в которой нет ничего лишнего, то об этом излишне и говорить: они могут быть очень обширны и будут носить характер нравственный, между прочим, ощутительно отразятся на всем мирозерцании человека. Ибо, хотя в настоящее время мы с уверенностью можем сказать, что первенство народов индоевропейского племени среди других племен Земли, составляющее факт несомненный, основано на превосходстве строения языков этого племени и что причина этого первенства не может быть выяснена без должного исследования свойств их языков; хотя и необходимо признать, что ребенок, говорящий на одном из индоевропейских языков, уже в силу этого одного является философом в сравнении с взрослым и умным человеком другого племени. Но мы должны признать и то, что язык самого грубого человека из племени, не дошедшего до искусства ковать железо, все-таки представляет строение в высокой степени совершенное и вполне человеческое. Ход исторического движения человечества дает мысль о единстве человечества. Греки и евреи, например, ее не име-

ли и потому применяли правила нравственности только в среде своей национальности. Эта мысль о единстве человечества не дается ни физиологией, ни анатомией, ни какой другой наукой в такой степени, как языкознанием, как тем фактом, что каждый человек думает, как и я, участвует в строении системы языков, как и я, стремится к одной и той же великой цели познания. Варваров и не-варваров нет, как нет для ботаника сорных трав и полезных растений.

Другая сторона занимающего нас вопроса — более тонкая и более трудная. Дело в том, что, как было сказано выше, есть известная доля мысли, невозможная без языка; язык есть орудие, вырабатывающее эту долю мысли и кладущее на нее свой отпечаток. Но разложение, анализ мысли именно в том и состоит, чтобы каждый раз, как она проявляется в речи, вычитать, отделять из нее то, что внесено в нее этим ее орудием. Если признать, что <это> действительно так, то необходимо согласиться, что такого вычитания, то есть отделения из сложного акта мысли той ее части, которая внесена языком, и нельзя сделать без языка. Может, пожалуй, показаться странным, что существуют такие люди, которые отождествляют все содержание мысли со словом. На самом деле есть период, когда человек не только не отделяет слова от мысли, но даже не отделяет слова от вещи; отсюда происходит старинное верование, дожившее до настоящего времени и состоящее в том, что одно произнесение известного слова само по себе может произвести то явление, с которым оно связано. Вера в объективное существование слова была чрезвычайно распространена, и влияние этой веры, этого мифа на жизнь было огромно. Таким образом, практическое значение теоретического языкознания должно состоять в том, чтобы сообщить человеку убеждение в субъективном содержании слова и уметь выделить этот элемент из объективного сочетания мысли и слова.

Теперь следует сказать несколько слов об отношении языкознания к наукам других факультетов. Весьма распространено противоположение человека природе внешней. Уничтожить *совсем* это сопоставление невозможно, но ослабить противоположность между сопоставляемыми предметами необходимо. То же самое нужно сказать и о противопоставлении образовательной силы человеческого духа и образовательной силы природы, мира идеального и реального. По-видимому, некоторые явления настоящего времени уничтожают основание таких противопоставлений. Человек не противоположен природе как нечто ей чуждое, но вытекает из нее как один из результатов ее деятельности. До недавнего времени можно было говорить, что все человеческое имеет свою историю, между тем как природа, внешняя истории, не знает; но эта противоположность с точки зрения нашего времени является ошибочною, и старое название «Естественная история» получает новый и глубокий смысл. Благодаря открытиям позднейшего времени выработалось убеждение, что и в изучении внешней природы описание одновременных явлений есть лишь один из моментов, что эти описания слагаются в длинные ряды, а они в своем развитии составляют историю данного явления. И не только организм проходит в своем развитии известные ступени, но и мир неорганический также имеет свою историю. При противопоставлении образовательной силы человеческого духа образовательной силе внешней природы, очевидно, упускается одно важное обстоятельство. Наша познавательная сила, если применимо к ней выражение, заимствованное из мира материального, своим щупальцем не прикасается к предметам внешней природы непосредственно; по крайней мере очевидно, что и дикий стоит лицом к лицу с той же самою природою, которую наблюдаем и мы, и нельзя сказать, чтобы он лишен был познавательных инстинктов, которые свойственны всем людям, а между тем он из этой природы извлекает не

положения науки, а нечто совсем другое (фетишей, на ступени более высокой — богов). Да, если поставим нынешнего непрigотовленного человека перед явлениями природы, введем его в устроенный научно кабинет — зоологический, анатомический и проч. — и посмотрим, что он извлечет оттуда, то получим приблизительно такие же результаты, как и у дикаря, — или равнодушие, или бессмысленный страх и поклонение. Рабочий, который разбивает камни для устройства мостовой, и не подозревает того, что рассказывает этот камень геологу. Женщина, которая полет в огороде грядку, не имеет досуга, а главное, не имеет чего-то другого, что поважнее досуга, для того чтобы определить, какую роль играют выпалываемые ею растения в экономии природы. А каким образом достигает этого ученый? Здесь дело не в физиологической подготовке, которая, несомненно, существует в смысле наследственного накопления известных особенностей, склонности к умозрению, а в том, что между познающим и познаваемым ложится предание, или приобретаемое случайно, или сообщаемое систематически. Знания, накапливаемые таким образом, превращаются в нечто данное, готовое, на что не тратится энергия слова и мысли, но чем обуславливается экономия сил в научном творчестве и облегчается всякое движение мысли вперед. Стало быть, что такое изучение природы? Оно есть изучение произведений человеческого духа, так как оно выражается в непрерывном изменении взглядов человека на явления природы. А если так, то изучение природы (внешней) не противоположно изучению человека (хотя, конечно, отлично от него), равно как и история природы не противоположна истории человека. Из этого соображения следует, что если языкознание есть элементарная (основная) наука среди наук гуманитарных, потому что рассматривает элементарные (основные) формы мысли, то, так как нет противоположности между способами изучения природы и человека, следовательно, она элементарна и по отношению к наукам, занимающимся изучением явлений внешней природы. Даже и в наглядности нет различия между этими науками. Уже и в самом языкознании мы имеем предметом наблюдения звук, нечто материальное и потому до известной степени наглядное; но можно указать громадные отрасли произведений человеческого духа, представляющие большую наглядность: такова, например, история искусств. Как зоолог располагает внешними предметами, подлежащими его наблюдению; как археолог имеет в своем распоряжении остатки древности, орудия каменного века и проч., — так историк искусства имеет богатый запас художественных произведений. Стало быть, в некоторой области гуманитарных наук исчезает и та доля противоположности их наукам естественным, которая на первый взгляд кажется несомненною.

Еще одно замечание. В отделе наук о природе, то есть наук, относящихся к медицинскому и естественному факультетам, есть одна элементарная наука, которая в их сфере играет ту же роль, что языкознание в сфере наук гуманитарных. Это — математика. Главные категории математики — величина и форма — таковы, что их не обойдет никто, занимающийся изучением природы, а пожалуй, и изучающий явления человеческого духа. Должно, однако, заметить, что и по отношению к математике языкознание является более элементарною наукою. Дальнейшее развитие математики, начиная с самых низших ступеней, подготавливается тем, что дается человеку языком, и было бы совершенно напрасно учить арифметике такого дикаря, в языке которого (такие языки еще есть) нет числительного более четырех, да и те [числительные] таковы, что понятия об отвлеченном числе нет. В наших языках слово «один» сразу дает ребенку понятие об единице, не допуская понятия о какой-либо именованной единице. Но для кого слово «палец» означает вместе с тем и единицу, тот вечно будет колебаться в своем представлении между вещественным предметом и отвлеченным числом.

Математика как наука основная изучает основные категории, неизбежно применяемые при изучении внешней природы, но сама она наука не естественная.

Математическая подготовка есть дело, совершаемое языком; может быть, что даже и высшая математика нашего времени в лицах, занимающихся ею, продолжает находиться под влиянием языка. Кроме того, она изучает нечто такое, что в природу вносится при посредстве человека. Это не значит, чтобы мысль выжала все содержание математики из себя, как и паук тклет свою паутину не из себя, а перерабатывает в паутину полученный извне материал. Таким же самым образом математические категории суть продукты природы, переработанные человеческим духом. Из сказанного ясно, что между предметами знания, конечно, есть границы, но нет радикальной противоположности. О противоположности человека природе можно было говорить разве только тогда, когда, например, так или иначе действовали на мысль теории религиозные и иные, — теории дуализма (Бога и черта, духа и материи) и проч.

Итак, права математики аналогичны с правами языкознания, и поэтому практически с нее начинать элементарное обучение. При этом заметим, что элементарность той или другой науки не есть ее превосходство, но есть нечто вроде аристократизма в ряду других наук. Если языкознание и математика служат единственным входом в познание человека и природы, то нужно быть специалистом, чтобы на всю жизнь оставаться при этом входе. Всякий ход ведет дальше.

Еще один вопрос. Что такое практичность? Ведь математика в высокой степени теоретична — самая теоретичная из наук, а между тем и сама она, и сообщаемое ею развитие считаются необходимыми и практичными, потому что, куда ни ткнишь, всюду заметно и важно ее влияние.

Обратимся к приемам исследований языка. Важное орудие в руках языковеда — фонетика. Языкознание идет от изучения чередования звуков; без фонетики никакое объяснение слова не было бы возможно; благодаря ей мы имеем возможность в девяти случаях из десяти сказать, что такое-то сочетание звуков есть предшествующее, а такое-то последующее.

При исследовании какого-нибудь слова приходится останавливаться на самых разнообразных явлениях. Это показывает, что язык — система, есть нечто упорядоченное, всякое явление его находится в связи с другими. Задача языкознания и состоит именно в уловлении этой связи, которая лишь в немногих случаях очевидна. Что язык есть действительно система, в этом мы можем убедиться непосредственно, на самих себе. В богатых языках, каковы русский, немецкий и др., в данное время исследователь находит 100–200 тысяч слов; но это есть лишь частица наличного капитала языка, так как при этом берется во внимание лишь одна какая-нибудь форма языка известного слова. Дознано, что Шекспир употреблял 13–15 тысяч слов; мы, которые в этом отношении не можем равняться с Шекспиром, имеем в своем распоряжении 500–1000 слов. Десятки, сотни тысяч слов нами никогда не были слышаны, тем не менее можно сказать, что эти никогда не слышанные слова нам наполовину понятны при знании употребляемых нами 500–1000 слов. Спрашивается, как же бы это было возможно, если бы мы не имели ключа к разумению незнакомых нам слов, если бы язык не был стройною системою, в которой есть определенный порядок и определенные законы?

III

Что такое слово? Всем известно, что язык без членораздельных звуков немыслим и что только в переносном смысле можно говорить о языке жестов, о языке пластических произведений и проч. Самый вопрос о том, что такое членораздельный звук, довольно сложен. С внутренней стороны мы различаем в слове значение, без

которого оно не есть слово. При этом отношение говорящего к употребляемым словам двояко. Когда ребенок впервые знакомится со звуками и значениями наших слов (НВ *знакомится*, а не выдумывает своих слов, что также бывает и что весьма важно), то это отчасти происходит таким образом: мы указываем ребенку на вещь и говорим, что «это — дом, лес, на столе — соль, сыр» и проч. Дитя по нашим указаниям, но совершенно самостоятельно составляет себе образы и понятия. Если оно сложит нечто в своей памяти под ярлыком «соль», то это приобретено им самим, а мы в слове «соль» дали ему только рамку, которая будет сдерживать его личные наблюдения и совокуплять их в одно целое; мы же лишь не позволяем ему при этом сойти с пути, намеченного преданием, и назвать, например, соль — сыром и наоборот. Но мы и сами не самодельны, а находимся под давлением предания, и можно лишь улыбнуться, читая у Диккенса слова одной дамы, что если бы не было словаря доктора Джонсона, то мы бы и до сих пор называли кровать кочергою. Мы не сами выдумали, что *соль* значит одно, а *сыр* другое, и на вопрос, почему *соль* называется *солью*, не только не считаем нужным, но и не находим никакой возможности ответить. Единственное объяснение этого — «так говорят». Таким же самым образом мы относимся к значительной доле слов нашего языка. В этих случаях под давлением предания значение непосредственно и безотчетно примыкает к звуку, причем значение производится нами самостоятельно.

Но есть другой разряд слов, к которым мы относимся более деятельно. Стоит только употребить рассмотренные сейчас слова в переносном смысле, и основания такого действия скажутся. Эти основания будут ясны даже в том случае, когда мы сами не в состоянии дать себе в этом отчета. Когда мы говорим: в этом деле, в этом кругу мыслей *я дома*; здесь, в этом обществе *я как в лесу*; чем дальше *в лес*, тем больше дров; волка как ни корми, он все *в лес* глядит, — то, например, первым выражением мы хотим обозначить, что с известным кругом мыслей мы освоены, но самый круг мыслей, конечно, о жилье ничего не напоминает. Таким образом, производное значение *дома* отлично от первообразного его значения, и причина, почему я употребляю первое (то есть производное), заключается в том, что между обоими значениями я заметил нечто общее. Допустим, что слово «соль» для меня непонятно, то есть что я с этим словом связываю представление об известном цвете, вкусе, плотности и проч., но не могу сказать, почему весь этот комплекс признаков носит это, а не другое название; но когда я сказал «соль речи», то уже понимаю, что здесь произошло сравнение и что потому *соль* употреблено мною во втором значении, что раньше существовало в первом.

Равным образом в пословице «как волка ни корми, он все в лес глядит» — *в лес* значит *не собрание деревьев*, а нечто другое. Что же общего между новым значением и значением прежним? Быть может, иногда и трудно определить этот третий член сравнения, это *tertium comparationis*, но несомненно, что такой член всегда есть. Общим признаком между сравниваемыми предметами в данном выражении (*в лес*) служит движение *прочь, от дома, вон*.

Самое слово *вон* объясняется таким же образом: *вон* у нас наречие, сохраняющее значение винительного падежа (куда); *вне* есть явный местный падеж. Стало быть, здесь мы имеем дело с существительным, которого падежи до сих пор ясны. При этом существительном (*вънъ* в древнерусском языке) имеется старинное слово *извънъ* в значении «наружная сторона». Поэтому можно с недоверием отнести к сближениям этого слова, например, с санскритским *vina*, которое значит «без»; напротив, до того, что значит наше *вон*, мы доходим на основании иных соображений, а именно — на основании сравнения этого выражения с аналогичными ему в других языках. Так, в латинском находим весьма конкретное слово *foras*, по-русски *на двор*, по-сербски

на поле, на полю, и потому можно придать значение мнению проф. Ягича, которое в фонетическом отношении не встречает никаких препятствий, — что *вънъ* есть то же самое слово, которое в санскрите звучит *vana* и означает «лес». Таким образом, если примем в наших примерах слово *в лес* не в его прямом, а в переносном значении, то есть в значении, равном *вон*, — в ту сторону, противоположную всему домашнему, дружескому, симпатичному, то это значение в данном слове изображено или представлено одним признаком, взятым из первого (прямого) значения. Этот признак, связующий второе значение с первым, называется представлением, средством сравнения, менее точно, — образом, символом. Всякое удачное этимологическое исследование неясного слова, то есть всякая удачная попытка ответить на вопрос, почему мы, например, говорим: «В этом деле я дома», — непременно ведет к открытию представления, связующего значение этого слова с значением предшествующего. Предшествующее слово точно так же связано со своим предшествующим, это — опять со своим, — и так в недостижимую глубину.

Представление есть признак, взятый из значения предшествующего слова и служащий знаком значения данного слова.

Таким образом, в словах вообще различаются два момента, два периода жизни: 1) когда слово состоит не менее как из трех элементов, то есть из внешней формы (единство звука), знака (представления) и значения; 2) когда представление исчезает и значение непосредственно примыкает к слову.

IV

Зачем человеку слово? Известно, что композиторы могут писать музыку, не играя и не напевая; есть игроки в шахматы, которые играют, не глядя на доску, и даже одновременно ведут несколько партий; но, конечно, помимо особенной способности к тому и другому, в этом случае нужно предположить и продолжительное упражнение: первоначально, чтобы играть в шахматы, нужно иметь перед собою доску, и чтобы сочинить музыкальный мотив, нужно напевать его. Таким же самым образом для сознательной деятельности мысли нужно иметь перед собой эту мысль как внешний предмет, другими словами — объективировать ее, и тем более это нужно, чем слабее мыслительная сила или, что то же, чем сложнее самая работа мысли. Поэтому можно считать вероятным то наблюдение, что чем первобытнее человек, тем менее возможно для него беззвучное мышление; да и мы сами, если постараемся уловить себя, остановить бессознательное течение нашей мысли, также заметим, что, думая сознательно, а не образами (как во сне), не мечтая, мы в то же время и говорим, хотя и беззвучно.

Итак, слово для самого говорящего есть, средство объективировать свою мысль. Это не значит, чтобы слово было средством выражать уже готовую мысль, ибо если бы мысль уже раз была готова, то зачем ее объективировать. Мы бы уже тогда сразу стояли на ступени того шахматиста который играет, не глядя на доску. Нет, слово есть средство преобразовывать впечатление для создания новой мысли. Между преобразованием и созданием нет противоречия: ведь творчество природы есть не более как преобразование, и всякое человеческое творчество есть также видоизменение уже существующих элементов. Так как мысль, очевидно, возникает в самом мыслящем лице, хотя и не без влияния на нее других лиц, то, стало быть, слово и вообще язык нужны прежде всего для самого говорящего. Это положение казалось бы очень простым, но на самом деле только в XIX столетии оно выражено ясно В. Гумбольдтом и до сих пор не может считаться популярным, так как есть ученые, которые не видят прямых последствий этой мысли.

Как же служит слово для преобразования, так сказать, до-словесных элементов мысли? Чтобы ответить на этот вопрос, мы не можем возвращаться к дословесному периоду мысли и говорить о б е з с л о в н о м начале языка, — о том, как человек превратился из неговорящего в говорящего. История, как бы широко ее ни понимали, уже застаёт человека говорящим. В ребенке период речи почти незаметно для нас сменяет период бессловесности, хотя, конечно, на этом поле может быть сделано много наблюдений, и здесь мы могли бы дойти до вероятных заключений и относительно первобытного человечества. Таким образом, можно ответить на предложенный вопрос только на основании наблюдений над тем, что происходит в нас самих, что вносит новое слово в мысль, которая и до того уже пользовалась словом. Чтобы приблизительно судить о том, что могло заключаться в мысли до языка, надо было бы вычестить из наличного состава нашей мысли все, что не дано чувственными восприятиями. Эта работа весьма трудная и сложная; результаты ее можно только наметить в общих чертах, хотя маленькие опыты в этом роде нетрудно сделать и самим. Прочтите или проговорите любую фразу из тех, которые нами произносятся и повторяются постоянно, и спрашивайте себя по поводу каждого слова, дано ли оно непосредственно чувственными восприятиями или нет. Из самого небольшого опыта можно убедиться, что в нашем внутреннем мире — том мире, который каждый носит в себе, — лишь самое незначительное количество комплексов находится в непосредственной связи с чувственными восприятиями. Мы говорим, например: «Черная птица летит». Разве мы видим птицу, ее качество (черная) и то, что она летит? В чувственном восприятии черной летящей птицы, в том образе, который дает нам образ, не дано ни действующее лицо (субстанция), ни его качество, ни его действие, и все это прибавлено нашею мыслью — мыслью сознательною.

Уже здесь можно сказать, что все это прибавлено я з ы к о м, то есть мышлением при помощи языка. То, что я отделяю летящую птицу от того фона, на котором она мне рисуется, конечно, условлено до известной степени чувственным восприятием, и вообще можно сказать, что в до-словесном состоянии языка могли быть объединены известные связки впечатлений, потому что то, что я называю летящею черною птицею, есть масса впечатлений; но самое содержание этих связей тогда не было разложено, расчленено. Кроме этого, существовала целая масса несвязных, не соединенных в такие связки впечатлений. Допустим, что перед нами находится животное и мы в положении Адама, который должен дать ему наименование; допустим, что в первый раз корова называется коровой: что извлекает себе мысль из этого? Слово «корова» одно из тех, которые допускают удовлетворительно объяснение. Полногласная форма «корова» по известному закону предполагает до-славянское «карва», которому буквально соответствует в зенде прилагательное *crva* (*сърва*) = *рогатый*; в греческом языке *κεραός* (= *κεραβός*, у Гомера постоянный эпитет оленя); в латинском *cervus*. Следовательно, корова в этом слове названа *рогатою*; но самое это слово по признаку, в нем заключенному, предполагает уже слово для означения рога. Стало быть, и в этом случае мы имеем дело не с началом, а с продолжением; но о начале мы можем судить по качеству продолжения, ибо никогда мысль человеческая не доходит до самого начала. Когда человек впервые употребил слово «корова», то в его «мозговом аппарате» произошел следующий процесс: «то, что я вижу, сходно по признаку рога с тем, что я знал прежде».

Пусть новое впечатление будет *x*; признак, по которому оно обозначено, — *a*; прежнее впечатление — *A*. Тогда весь процесс превратится в сравнение: *x* есть для

меня то же (= сходно для меня с тем), что я прежде назвал А. Конечно, при таком сравнении самое средство сравнения (*a*) не будет выражено.

Если это так (а нет повода думать, что это не так), то, следовательно, каждое слово, отдельно произнесенное, есть уже сумма, то есть объясняет новое восприятие через сравнение его с прежним, с коим новое сходно в одном пункте. Этот-то пункт и есть представление. Допустим, что чувственное представление коровы уже было связано до слова, то есть я видел, как она двигалась, как фон, на котором она мне представлялась, изменялся, а признаки ее оставались неизменными. Таким образом, количество признаков было объединено и прежде, а представление лишь дало сознание единства. Иметь известное восприятие и знать, что мы его имеем, — это два дела разные: первое свойственно и животным, второе — только человеку. Как, по-видимому, ни ничтожна эта разница, но ею условлена вся дальнейшая разница в развитии человека и животных. Представление по отношению к значению может быть названо образом значения. Обратите внимание на то, в каком отношении находится здесь образ к значению. Значение, то есть то, что в слове дано чувственным восприятием, представляет множество признаков; представление — только один. Следовательно, из значения в представлении устранено все, кроме того, что почему-то показалось существенным. Это обстоятельство облегчает обобщение, потому что как скоро в корове представим существенным то, что она рогата, а все остальное отодвинем на второй план, то тем самым мы даем себе возможность в первый же раз, как нам представляется олень, и его отнести в ту же группу. В греческом языке — *κεραός* служит постоянным эпитетом оленя, а в латинском уже *ceruus* и прямо значит олень. Итак, обобщая этот частный случай, можем сказать, что представление, устраняя массу признаков значения, облегчает обобщение, — и обобщение не в том только направлении, что, например, под одно название «корова» мы подведем разных коров (пестрых, рыжих, серых и проч.), но и в том, что под то же название мы подведем и оленя. Таким образом, мы видим, как в процессе образования новых слов устанавливалась классификация наблюдаемых явлений.

Когда я увидел перед собою корову до названия ее словом, то это восприятие могло быть названо зародышем того, что мы можем означить словом «предмет (объект) мысли». Предмет мысли не есть только совокупность (сумма) признаков, его составляющих, он не есть только $a + b + c + d$, но заключает в себе возможность и новых признаков, вовсе не данных. Можно думать, что, лишь объединив чувственные образы посредством представления, мы создаем такой объект мысли, которого содержание способно развиваться, — создаем формы, в которые удобно будет ложиться всякий новый признак. Словом, здесь вместо множества признаков поставлен один, и когда мысль возвращается вновь к предмету, уже раньше узнанному и знакомому, то ей достаточно привести в сознание этот один признак. Работа мысли через это упрощается, и тем достигается возможность в данный промежуток времени обнимать мыслью указание на гораздо большее количество содержания. Когда мы говорим, мы затрагиваем огромное количество комплексов мысли, но в свою речь вводим только намеки на них. Это похоже на то, что совершается в торговле, когда меновая торговля заменяется денежною или когда такие знаки ценности, как металл, кожи, раковины, заменяются бумажными деньгами. То, что делает представление с чувственными восприятиями (со значением) (то есть все это сокращение труда мысли), похоже на то, когда мысли заменяются алгебраическими знаками, благодаря чему сложные численные задачи сводятся к простым отношениям.

V

Нужно помнить, что слово имеет две формы: 1) слово с живым представлением и 2) с забытым представлением. Вторая форма всегда ведет к первой, если мы только отыскиваем значение этого слова. Было указано выше на предшествующее значение слова «корова»; возьмем теперь другие примеры.

χεῖρ (рука); εὐχερής = такой, которого легко взять, удобный, легкий.

В санскрите корень *bhar* (брат), — более позднее = *bar* (*harati* = он берет).

Следовательно, χεῖρ = рука как берущая.

Ржка: литовск. *rinkti* (основная форма *raŕk*) = собирать.

Пърстъ: санскр. *prc* = прикасаться.

Трава: церковнослав. *тпру-ти*, есть; следовательно, трава = снесь. Слово это напоминает по своему образованию греч. βοτάνη при βόδκω (это последнее сближают с лат. *vescor*). Если обратить внимание на то, что человек только тогда мог уже называть корм скота *трабою*, когда имел знакомство уже со значением слова *есть*, — и притом со значением не отвлеченным, не вырванным из связи, как это в нашем глаголе; если далее заметим, что чувственный образ травы как снеди заключает в себе много признаков, из которых для образования слова выбран лишь один, и что так бывает во всех подобных случаях, — то будет понятно, если вообще скажем, что при возникновении слова действие мысли есть сравнение двух мысленных комплексов (связок), а именно — вновь познаваемого (*x*) и прежде познанного (*A*), причем между тем и другим оказывается точка соприкосновения (*a*). Это *a* есть представление, иначе — средство сравнения, *tertium comparationis*, знак значения, символ. При этом во всяком вновь возникающем слове обозначение его значения знаком есть всегда иносказание, аллегория, так как между одним признаком (представлением) и массой признаков (значение) всегда находится значительное расстояние. Сравнение с целью познания нового не есть математическое уравнение, потому что, если я говорю « $\angle ABC = \angle ABD$ », то для меня все равно, который бы из этих углов ни был поставлен прежде: обе эти величины для меня равно известны. Кроме того, в математическом уравнении величин уравниваются тем самым и их части; очевидно, что в том сравнении, о котором мы говорим, не то. Нам дается *A*, из которого *a* не выделено, и через выделение этого *a* мы покоряем своему познанию *x*. Какую же пользу приносит для мысли этот процесс? На какую новую ступень переводится мысль актом познания, совершающегося в слове? Этот вопрос большой важности, но трудный и в отношении многих частных не вполне ясный. Познание, совершающееся в слове, есть второе знание (*notio scunda*). Положим, что у меня уже есть одновременная связка признаков в траве приблизительно в том виде, в каком эта связка существует у коровы; но в качестве человека я эту связку вновь подвергаю своему наблюдению. Если знание, общее у человека с животными, можно назвать знанием, то достигаемое мною новое знание можно назвать *вторичным*. Оно включает в себе:

1) Сознание единства признаков, данных в комплексе. Из безразличного большого количества признаков (трава *растет*, трава *вянет*, трава *зелена*) я выделил один и сделал его центром, около которого группируются остальные.

2) Облегчение сознательного обобщения. Когда я сделал центром связки один признак, то этим самым я облегчил сознательное обобщение, потому что всякое новое восприятие, всякий новый чувственный образ, лишь бы только в нем был признак, выделенный представлением, будет укладываться уже в готовые рамки.

3) Когда дано представление, связанное со звуком, то мне каждый раз, когда понадобится, не нужно вводить в дело все его значения, а можно ограничиться только

заменителем этого значения. Другими словами, представление замещает собою чувственный образ, и так как оно просто, то этим достигается быстрота мысли. В течение какой-нибудь минуты мы произносим значительное количество слов, что же? Разве каждый раз при этом мы представляем себе содержание каждого произносимого слова? Нет, мы проводим только заместителей их значений.

4) Первое простое слово есть уже суждение, потому что мы мысленно, про себя, говорим: *х* есть для меня то, что я прежде познал как *А*; корова есть для меня в этом слове нечто рогатое. В этом суждении я произношу только одно слово «корова». Затем суждение, выраженное в одном слове, входит в сочетание с другими словами (суждениями), и таким образом получается целая цепь суждений: «то, что я представляю себе поедаемым (= трава), я в то же время представляю себе зеленым»; «то, что я представляю себе поедаемым, растет... вянет... сохнет... косится» и т. д. Представим себе, что каждое из слов, составляющих сказуемые в этих предложениях, само по себе есть центр значений. Таким образом я устанавливаю сознательную связь между такими словами, как трава (то есть таким комплексом значений, который обозначен этим признаком), целым рядом других комплексов или слов. Здесь, следовательно, происходит расчленение чувственного образа травы на отдельные его признаки и восприятие или чувственный образ через то обращается в понятие. Разница между чувственным образом и понятием та, что чувственный образ есть нерасчлененный комплекс почти одновременно данных признаков: я смотрю на траву, и все, что я в этом случае знаю о ней, составляет просто один момент моего душевного состояния. По крайней мере, если и произошло во мне объединение связки впечатлений (трава), обобщение чувственного образа травы, слияние его частей, то без моего ведома, бессознательно. Иное дело, когда я этот чувственный образ, эту объединенную чувствую связку впечатлений превращаю в понятие: одновременность известного количества признаков превращается в последовательность, ибо психологически понятие есть всегда процесс, длинный ряд. Если мы рассматриваем понятие как комплекс единовременных признаков, то это не что иное, как выдумка.

Какое значение для нас может иметь такое расчленение образа? Вместо ответа на этот вопрос можно сослаться на следующее место из Спенсера. Это место имеет в виду доказать, что от степени разложения комплекса признаков в ряд прямо зависит верность умозаключения:

«Чтобы понять важную черту, отличающую понятия дикого состояния, следует рассмотреть, что происходит, когда сложные объекты и отношения мыслятся так, как простые. Только с увеличением знания и с превращением наблюдения из случайного в преднамеренное и критическое становится возможным усмотрение того факта, что способность какого-либо деятеля к произведению свойственного ему эффекта может зависеть от какого-либо одного его свойства с исключением всех остальных, или от какой-нибудь одной его части с исключением всех остальных, или не от одного какого-либо его свойства или части, но от их взаимной комбинации. Вопрос о том, какое именно свойство данного сложного целого определяет его действие, может быть решен только после того, как анализ достиг некоторой высоты, а до этого момента действие известного тела необходимо понимается как принадлежность всему целому безразлично. Далее, это неанализированное целое понимается как стоящее к своему неанализированному эффекту в некотором тоже неанализированном отношении. Эта особенность первобытной мысли так важна по своему влиянию на свойства первобытных понятий, что мы должны рассмотреть ее ближе.

Обозначим различные свойства (атрибуты) какого-либо предмета (объекта) — например, морской раковины, называемой змеиной головкой, буквами *A, B, C, D, E*

и проч., а отношения между ними — буквами *h*, *x*, *y*, *z*. Способность этого предмета производить свойственный ему эффект, состоящий в концентрации звука перед нашим ухом, зависит отчасти от гладкости его внутренней поверхности (которую мы обозначим через *C*) и отчасти от тех отношений между частями этой поверхности, которые составляют ее форму (которые мы обозначаем через *y*). Теперь, чтобы понять, что способность раковины концентрировать звук происходит именно так, нужно уметь отделить в мысли *C* и *y* от всех остальных свойств и отношений данного предмета. Пока это не будет сделано, до тех пор звукоувеличивающая способность раковины не может быть познана как не зависящая от ее цвета, твердости или наружных шероховатостей (предполагая, что все эти качества могут быть мыслимы отдельно, как свойства). Очевидно, что пока не явится умение различать атрибуты, до тех пор эта способность раковины может быть представляема себе только как принадлежащая ей вообще — как заключенная во всем ее целом» (Спенсер. Т. 1. С. 114–115).

Чтобы радикально опровергнуть такое мнение, являющееся результатом отсутствия разложения целого на его части, необходимо сделать ряд опытов. Для того чтобы, например, отказаться от мнения, что раковина шумит, потому что вспоминает о шуме моря (что может сделать всякий ребенок — и совершенно правильно со своей точки зрения, исходя из неразложимого целого), человеку необходимо прикладывать к уху другие предметы подобного строения, не имеющие ничего общего с морем, а замечать, что и они также производят шум. Но уже и для систематического произведения таких опытов нужно выделить признаки.

Этот способ ложного умозаключения от неразложенных психологических целостей, предшествующих анализу, производимому языком, играет большую роль в истории. Примеры в том же сочинении Спенсера: «Атрибуты или свойства, как мы их понимаем, недоступны для понимания дикаря... Он ассоциирует особенную способность с раковиною телесно, смотрит на нее как на стоящую к раковине в таком же отношении, в каком стоит к камню его вес, — то есть представляет ее себе как сосуществующую с каждой частью раковины. Отсюда объясняются некоторые верования, замечаемые повсюду у нецивилизованных народов. Известная специальная сила, обнаруживаемая каким-либо предметом или частью его, принадлежит, по мнению дикаря, этому предмету или этой части таким образом, что может быть обеспечена за ним (дикарем), если он съест этот предмет или часть или будет иметь их в своем обладании» (Там же. С. 115). Другими словами, дикарь полагает, что если целое обладает известными свойствами, то и всякая часть такого целого обладает теми же свойствами. Убивается враг — и для обладания его храбростью съедается его сердце (племя дакота) или для приобретения его дальновзоркости — его глаза (новозеландцы). Все это совершенно правильные способы заключения от нерасчлененного целого. Такие же примеры мы можем найти и среди нас. Сюда относятся все чары на след. Надобно, положим, заставить человека полюбить, — так сказать, подчинить всего его себе; но вместо всего человека берется часть его, след, волос и проч., и над этой частью производятся операции, долженствующие оказать действие на целое.

Пока мы говорим о действии слова, не выходя за пределы наблюдения над личностью, наши заключения могут быть шатки; всегда желательно найти примеры в истории, и тогда в эффекте слова уже невозможно сомневаться. Все рассмотренные свойства слова вытекают из одного основного: человек потому выше животного, что он в слове обладает средством объединить свою мощь и таким образом подчинить ее вновь своему познанию. Этим обусловлен прогресс человеческой жизни. Кроме человека, никто не говорит так, как человек; для животного звуки не служат объектом,

который бы облегчал самонаблюдение. Что слово одно только указывает на процессы, совершающиеся в нас, — это не подлежит сомнению, но будет яснее, когда мы это увидим в увеличенном виде — в истории человека.

VI

Уже при самом возникновении слова между представлением и значением (= совокупностью признаков, заключенных в образе) существует неравенство; другими словами, всегда в значении заключено более, чем в представлении. Слово как представление служит только точкою опоры или местом прикрепления разнообразных признаков. Жизнь слова с психологической, внутренней стороны состоит в применении его к новым признакам, и каждое такое применение увеличивает его содержание. Вместе с этим растет несоответствие между представлением и значением: наконец, несоответствие это достигает такой степени, что признак, заключенный в представлении, в ряду других признаков, составляющих значение, является несущественным, и это есть одна и притом главнейшая из причин забвения представления. В самой сущности слова, в том, чем оно живет, или, выражаясь более научно, в самой его функции, заключена необходимость того, что рано или поздно представление, служащее центром значения, забывается. Примеры этому можно видеть на каждом шагу. Вот несколько, взятых из Потта и приводимых им в примечании к одному месту в сочинении В. Гумбольдта.

Virtus — мужество, свойство мужа; таким образом, *virtus* женщины — вещь немислимая; но судьба этого слова такова, что мы применяем его к человеку независимо от его пола, и в таком случае какой же смысл имеет для нас признак, заключенный в представлении? Мы, естественно, забываем его, хотя и звуки не изменились или мало изменились.

Humour (юмор). Не вдаваясь в разъяснение того, что разумеется под этим словом в теории поэзии, замечу, что представление этого слова (*humor* — влага) имело первоначально смысл «сока», потому что сокам человеческого тела приписывалось влияние на состояние чувств. Думали, что от них зависит веселое или печальное состояние человеческого духа. При современных взглядах на психофизиологические процессы представление сока, жидкости для нас в этом слове невозможно, и потому мы его забыли.

Lune — прихоть, изменчивое состояние духа. Кто произносит это слово, тот, конечно, не думает, что это то самое слово, которое является в латинском языке в форме — *luna* (луна). Употреблялось оно относительно изменчивости счастья на том основании, что и луна изменчива, имеет фазы.

Возьмем русское выражение. Кто говорит, например, что такой-то класс народа беспочвен, тот с этим связывает такое количество разнообразных признаков, что основной признак (представление) данного слова (*почва* = *под-шва* = нечто подшитое, сравни *подошва*) не имеет никакого значения. Подобным образом в выражении «ваше мнение неосновательно, лишено основы», представление, заимствованное от известного ряда нитей, называемого ткачами основой, не то что забыто или стерто, а является до такой степени несущественным, что мы его не воспроизводим и говорим «основа» в смысле «почва» или «Вѣтъс». Это, однако, не все равно. Вѣтъс соответствует санскритскому *gatis* — ход, шаг и получило значение *основы* от подхода, приступки, пьедестала статуи.

Причина забвения представления в слове заключается главным образом в той функции, для которой предназначено слово, — функции собирания признаков около одного, служащего центром; как скоро их собралось столько, что признак, выра-

женный в представлении, оказался несущественным, — оно забывается. Таким образом, широкое и глубокое значение слова стремится оторваться от сравнительно ничтожного представления.

Итак, представление забывается; но как скоро мы применяем слово хотя бы и с забытым представлением к новому значению, происходит новое представление с явственным значением. Всякое новое применение слова, как уже сказано, есть создание слова. Если делаемый при этом в сознании шаг не крупен, то мы называем это — только расширением значения; если же он крупен, то создается новое слово, и в этом случае является новое представление.

Стремясь оторваться от представления в слове, мысль производит новое слово с ясным представлением. Эта непрерывная борьба мысли со словом при благоприятных условиях, при свежести духовных сил производит все более и более усовершенствований в языке и обогащает его содержание.

Например, слово *virtus* мы применяли к разным случаям и дошли до значения *добродетели* вообще, без различия пола. Применяем это слово еще дальше и говорим, что соль *en vertue de* таких-то своих качеств производит то-то и то-то. Здесь *vertue* есть новое слово, хотя звуки остались те же. Что же мы при этом сделали? Мы сравнили вещь, имеющую определенные свойства, с известным строем человеческой души (добродетелью) и из этого последнего круга признаков извлекли один для обозначения свойства вообще. При этом следует обратить внимание на то, что все радикальные изменения в слове, а в том числе и образование новых слов, — все это происходит на том пути, на который оно вступило с самого начала, — другими словами, в силу естественной функции самого слова. А может ли этимологическое исследование восстановить свежесть представления в слове?

Есть известное растение (*melilotus officinalis*), называемое по-малорусски *буркун*, по-великорусски *донник*. Что значит *донник* для обыкновенного сознания, не ясно; нужно предположить, что это значит: «растение, имеющее отношение к болезни, называемой в старинных памятниках *дѣна*». Предположим, что это объяснение верно. Станет ли тогда этот признак растения *melilotus officinalis* для обыкновенного сознания существенным, то есть настолько важным, что его стоит помнить? Всякий, занимавшийся рассмотрением растений вообще и этого в частности, наберет такое количество признаков, относящихся к внешнему виду и внутреннему строению частей, что отношение этого растения к болезни *дѣна*, которой свойства даже не вполне нам ясны, не будет иметь в этом кругу признаков ровно никакого значения. Данное объяснение указывает только на причину возникновения слова. Это аналогично с тем, что делает история искусства, показывая, почему возникли известные образы и какое они производили впечатление в свое время. Этим она прибавляет нечто к нашему вниманию и может повлиять и на нашу производительность; но раз эти образы устарели и не производят в нас эстетического удовольствия, никакая история их осветить не может. Есть археологи, которые восхищаются произведениями мастеров, предшествовавших Рафаэлю, и изучают их. Последнее, конечно, похвально, но, что бы они ни говорили, а произведения какого-нибудь Beato-Angelico не будут нравиться нам даже настолько, насколько нравятся посредственные картины современных художников.

Из сказанного видно, что в языке непременно должны одновременно существовать слова образные (с ясным представлением) и безобразные (с забытым представлением), первые могут становиться безобразными, расширяя свое значение, а вторые — образными, применяясь в новом направлении. Развитие языка совершается при посредстве затемнения представления и возникновения новых слов с ясным пред-

ставлением. Если деятельность мысли энергична, то в языке должно заключаться большое количество слов свежих. Поэтому совершенно ошибочно мнение, что языки с течением времени становятся менее образными. Это было бы лишь в том случае возможно, когда бы новые слова не создавались.

Итак, слово, рассматриваемое со стороны его нужности для говорящего, есть средство объединения образа, обобщения, анализа образа.

Теперь посмотрим на слово с другой стороны. В действительности язык развивается только в обществе, и потому другая сторона жизни слова состоит в его понимании слушающим. Уединенная работа мысли может быть успешна только на значительной ступени развития и при пользовании некоторыми суррогатами общества (письмом, книгами). Это до такой степени очевидно, что современное лишение общества и его суррогатов, какому, например, подвергаются приговоренные к одиночному заключению, прямо понижает уровень развития и может довести до тупоумия, до сумасшествия. Наоборот, нетрудно заметить, что только одушевление спора, убеждение, что нас понимают, возражают или соглашаются с нами, служит возбуждением для говорящего и рождает новые достоинства речи, которые не сказываются при уединенном мышлении. Усовершенствование языка стоит в прямом отношении к степени живости обмена мыслей в обществе — обмена, который обусловливается сходством человеческой природы и еще более сходством между лицами, составляющими известные отделы человечества (племя, народ).

Как происходит понимание? Когда человек, указывая на корову, произносит «корова!» — то он думает приблизительно следующее: «То, что я вижу, есть для меня рогатое». Здесь новое, чисто личное восприятие через представление приводится в связь с прежде познанным и объясняется этим последним. Что же при этом получает слушающий? Он слышит звуки и может воспроизвести их в силу своего сходства с говорящим, и они будят в нем отношение к сочетанию признаков, которое (сочетание) он прежде выразил в подобных же звуках. Понимая, он думает: «Эти звуки для меня значат нечто, представляемое мною рогатым». Допустим, что оба видят один и тот же предмет и что указание (движение со стороны говорящего) не оставляет никакого сомнения в понимающем, что речь идет о видимом им. Окажется, что чувственный образ коровы в том и другом различен. Во-первых, точки в пространстве, занимаемые тем и другим, не могут быть тождественны, а если бы они и поменялись местами, то смотрели бы на предмет в разные времена. Во-вторых, глаза, как стекла, так или иначе преломляют лучи, и, следовательно, впечатления зрения в двух субъектах аналогичны, но различны. В-третьих, если эти впечатления повторялись и накладывались одно на другое, то сочетания признаков, воспринятых разновременно, в разных лицах будут безгранично разнообразны. Следовательно, значение, группа признаков объясняемого, составилось в говорящем и понимающем самостоятельно и потому различно. Меньше всего различия в звуке и представлении, и когда я говорю, а меня некто слушает, то мы сходимся с ним только в этом одном пункте. Графически это можно представить в виде двух конусов, сходящихся остриями и в остальных частях своих не совпадающих.

Таким образом, говоря словами В. Гумбольдта, всякое понимание есть вместе непонимание, всякое согласие в мыслях — вместе несогласие. Когда я говорю, а меня понимают, то я не перекадываю целиком мысли из своей головы в другую, — подобно тому, как пламя свечи не дробится, когда я от него зажигаю другую свечу, ибо в каждой свече воспламеняются свои газы. Каждое лицо с психологической стороны есть нечто вполне замкнутое, в котором нет ничего, кроме произведенного им самостоятельно. Эта самостоятельность, без сомнения, может быть вызвана чем-нибудь из-

вне. Чтобы думать, нужно создать (а как всякое создание есть собственное преобразование, то преобразовать) содержание своей мысли, и, таким образом, при понимании мысль говорящего не передается, но слушающий, понимая, создает свою мысль.

Думать при произнесении известного слова то же самое, что думает другой, значило бы перестать быть самим собою; поэтому понимание в смысле тождества мысли говорящего и слушающего есть иллюзия, в которой действительным оказывается только некоторое сходство, аналогичность между ними, объясняемые сходством других сторон человеческой природы. Наше слово действует на других, но при этом оно уравнивает между замкнутыми в себе личностями связь, не уравнивая содержание этих личностей, а настраивая их гармонически. В процессе понимания те же основные черты слова, что и в речи: речь и понимание суть лишь разные стороны одного и того же явления. Рассмотрение процесса понимания служит лишь разъяснением того, что язык есть средство или, лучше, система средств видоизменения или создания мысли. Если бы язык был выражением готовой, уже сложившейся мысли, то он имел бы значение только для своего создателя, то есть понимание состояло бы только в передаче мысли, а не в ее возбуждении, что, по сказанному выше, немыслимо.

VII

Теперь вопрос об отношении поэзии к слову.

Если судить по учебникам и разным журнальным критическим статьям, то невольно приходим к убеждению, что поэзию объясняют при помощи терминов, которые частью сами нуждаются в объяснении, частью даже и необъяснимы. Возьмем отрывок из элементарного учебника А. Галахова, где что ни слово — то вопрос: «Поэзия как искусство представляет сущность предметов, их идею — не отвлеченно, не в суждениях, а образами». «Поэзия как искусство». Значит, если понадобилось прибавить эти слова, то есть поэзия и не как искусство, в таком случае, что же она такое? Или, быть может, автор имел при этом в виду возможность дурных поэтических произведений, — так это напрасно: отвечая на вопрос, что такое сапожник и сапоги, не следует иметь в виду, что есть неумелые сапожники и дурные сапоги.

«Представляет *сущность* предметов...» А что такое сущность? И если такая вещь существует, то подлежит ли она познанию? Ведь мы познаем только признаки, а совокупность их вовсе не составляет сущности. Скорее можно думать, что сущность понятие трансцендентальное.

«Их *идею*...» Какова же, например, идея стола? Совокупность его признаков, будучи разложена в ряд, составит понятие; если же мы, закрыв глаза, вызовем в своем представлении одновременно все эти признаки, то получим чувственный образ стола. А что такое идея стола? Если она и есть, то не настолько ясна и понятна, чтобы ее вводить в определение.

«Не отвлеченно, то есть не в суждениях». А как же? — можно спросить. Ведь суждение — это такая общая форма мысли, что избавиться от нее мы не можем. Как же это поэзия освобождает нас от суждений? Когда Пушкин, например, говорит: «Безумных лет угасшее веселье» и т. д., то разве он не судит и не заставляет нас воспроизводить суждения?

Далее в той же книге говорится о «неразрывном единстве идей». Если же окажется, как надо полагать, что то, нечто понятное, что есть в слове «идея», вносится в каждое художественное произведение каждым понимающим и, следовательно, выходит, что «сколько голов, столько умов», — то куда же денется это «неразрывное единство идеи»? И так дальше в том же роде...

Двум состояниям мысли, сказывающимся в двух состояниях слова (в слове с живым и забытым представлением), в области более сложного мышления при помощи слова соответствует поэзия и проза. Их определение, в зародыше, лежит в определении этих двух состояний слова. Поэзия и проза, следуя словам В. Гумбольдта, суть явления языка. С этим согласно и то, что, как язык есть деятельность, известный способ мышления, так и поэзия и проза суть тоже способы мышления, приемы мысли. Таким образом, уже здесь видим попытку дать определение не изолированное, которое потому уже было бы фальшиво, что поэзия не стоит особняком.

В слове мы различаем три элемента, и им соответствуют три такие же элемента во всяком поэтическом произведении, так что слово с ясным представлением само по себе должно быть названо поэтическим произведением. Разница — только в степени сложности. 1) Единству членораздельного звука, то есть внешней форме слова, соответствует внешняя форма поэтического произведения, — с тою разницею, что в сложном произведении разумеется не только звуковая, но вообще словесная, знаменательная в своих частях форма. Внешняя форма есть условие его восприятия и вместе с тем отличие поэтического произведения от произведений других искусств. 2) Представлению в слове — в поэтическом произведении соответствует образ или, если оно более сложно, известная совокупность, ряд образов. Поэтическому образу могут быть даны те же названия, которые приличны образу в слове, а именно: представление, знак, символ, внутренняя форма, средство сравнения. 3) Значению слова соответствует значение поэтического произведения, без нужды, по крайней мере для нас, называемое идеею.

Поэтический образ служит связью между внешней формой и значением. Форма условливает собою образ, образ вызывает значение. Это последнее может быть объяснено следующим образом: образ применяется к различным случаям, и в этом состоит его жизнь. Другое слово, простонародное, но весьма меткое, соответствует нашему «применяться» и одного с ним происхождения — «примеряться». С точки зрения этого слова поэтический образ может быть назван примером и притчею (по объяснению старинного писателя, от того, что «притычаться», то есть применяется). Чтобы более наглядно представить себе приведенное определение, нужно взять по возможности простое, каким, например, является всякая образная пословица.

«Не было снегу — не было и следу».

Это художественное произведение состоит из ряда слов, имеющих каждое особое значение, и это есть его внешняя форма. Второй элемент есть образ или пример, в силу которого каждый раз, применяя эту пословицу, мы создаем новое ее значение. Вот, например, считали человека таким-то, а обстоятельства выставили его в другом свете, и мы по поводу этого говорим: «Не было снегу, не было и следу». Все эти применения различны, но все идут в одном направлении и, следовательно, формально сходны. Если бы человек, например, зарвался бы в каком-нибудь предприятии и провалился, а мы применили бы к нему эту пословицу, то нам справедливо могли бы заметить, что наша пословица употреблена ни к селу ни к городу и к делу не идет. Если применения сделать нельзя, то, значит, как ни образны отдельные слова, цельности поэтического произведения нет, — да и нет самого поэтического произведения.

Возьмем теперь несколько пословиц, которые, как принято выражаться, высказывают одну и ту же мысль. У Горация есть место: «*Quid quid dclirant reges, plectuntur Achivi*» [«Из-за сумасбродства царей страдают ахейцы». Гораций. «Послания», 1, 2, 14 (лат.)]. Образ, очевидно, взят из истории Троянской войны и применяется во всяком случае, когда подчиненные без вины на себе испытывают неудобства от разногласия лиц, имеющих власть. Можем ли мы утверждать, что это значение, взятое в общем,

будет равно значению нашей пословицы: «Паны скубуться — у мужиков чубы трещать»? Оба эти значения доступны обобщению. Сложив их вместе, мы можем отвлечь общее и устранить частное; но такому обобщению можно подвергнуть всякие, хотя бы и очень далекие друг от друга понятия, потому что все они имеют в основании известные внешние явления, в которых всегда можно отыскать сходство. Хотя бы нам и казалось, что два поэтических образа производят один эффект, «но это кажется лишь до поры, до ближайшего рассмотрения. При более внимательном наблюдении оказывается, что различные образы и настраивают нас различно.

Можно было бы собрать значительное число признаний самих поэтов в том, что самый процесс поэтического творчества является необходимым для них самих и период развития и завершения поэтической деятельности наступает вместе с завершением их собственного развития. Следует вспомнить только известное место из Лермонтова: «Этот дикий бред преследовал...» и т. д.

Это то же самое, что мы находим у Пушкина в его «Разговоре книгопродавца с поэтом».

У Тютчева в стихотворении «Поэзия»:

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

Из трех элементов поэтического произведения — внешней формы, образа и значения — первые два представляют нечто объективное. Что внешняя форма доступна нашему исследованию — это не требует объяснения; что касается до образа, то в состав его, кроме личных условий жизни поэта, входит предание, усвоенное им (поэтом) и доступное исследованию. Образы поэтические, как оказывается а posteriori, могут иметь длинную родословную, теряющуюся в отдаленных веках, каковы, например, образы народной поэзии; точно так же и в личной жизни поэта находим многое, что может до известной степени объяснить нам происхождение образа. Исследование, направленное в эту сторону, и составит объективную, то есть единственно научную критку. Что же касается до третьего элемента, то есть значения поэтического произведения для самого поэта, то об этом можно говорить лишь настолько, насколько дает нам право говорить самый образ, а образ всегда находится в значительном расстоянии от своего значения, ибо он так к нему относится, как представление в слове относится к значению его. Дознание этого расстояния подает иногда повод к жалобам на невыразимость мысли. Сюда относятся многие интересные места у поэтов, например, у Тютчева в стихотворении «Silentium!»:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пусть в душевной глубине
• Встают и заходят оне,
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь... ит. д.

Ложь, потому что значение слова не передается.

Какой эффект получается, если мы какое-нибудь стихотворение (вообще поэтическую речь) превратим в прозу, изложим своими словами, речью немерною? Вопрос этот весьма важен, ибо им определяется различие между поэзией и прозой. В этом случае (помимо порчи эстетического впечатления) получается либо изложение конкретного факта, либо общее положение, к которым мы должны уже применить общие приемы исследования и критики. Тут уже являются вопросы: да правда ли это? да действительно ли так? Раз созданный образ становится чем-то объективным, освобождается из-под власти художника и является чем-то посторонним для самого поэта, — поэт становится уже сам в ряды критиков и может вместе с нами ошибаться. Поэтому объяснения, стоящие вне произведения и даже исходящие от самого художника, бывают чаще всего не нужны, а иногда комичны, напоминая известную надпись: «Се лев, а не собака». А такие объяснения бывают: сравни, например, четыре очерка Гончарова. Во всяком случае, не говоря уже о том, что это объяснение субъективно, не подлежит сомнению, что ценность поэтического произведения, его живучесть или то, в силу чего оно целые века переходит из уст в уста, то, почему, например, известная пословица служит правилом в жизни, решением споров, — это зависит не от того неопределенного *X*, которое стояло перед первым создателем в виде вопроса, и не от того объяснения, которое дал бы сам автор или посторонний критик, а от неопределенной силы сцепления элементов самого образа. Нередко приходится слышать и читать о вечности образа, точнее, о вечности понимания, пользования им. Конечно, не критика произвела то, что и мы еще читаем «Одиссею» своим детям, не те общественные и семейные вопросы, которые волновали душу создателя поэмы, и не горячее желание разрешить эти проклятые вопросы. Можно было бы доказать на частных случаях (Гоголь), что влияние художественного образа на общественную жизнь не входило вовсе в намерение автора. В поэтическом образе так же, как и в слове, понимающий создает себе значение. Каждый раз применение поэтического произведения есть создание в смысле кристаллизации уже бывших в сознании стихий, — есть приведение этих стихий в известный порядок.

Если сказанное верно, то вытекают важные последствия для объяснения художественных произведений. Мы должны заботиться о том, чтобы объяснить состав и внутреннюю форму произведения и приготовить читающего к созданию своего значения, — но не более; если же мы сами сообщаем значение, то в этом случае не объясняем, а только говорим, что сами думаем по поводу данного поэтического произведения. Итак, мы должны признать относительную неподвижность образа и изменчивость его значения. Как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить его собственную, так и в искусстве каждый случай понимания художественного образа есть случай воспроизведения этого образа и создания значения. Отсюда вытекает, что поэзия есть сколько произведение, столько же и деятельность. По словам Гумбольдта, «на язык нельзя посмотреть как на нечто готовое, обозримое в целом и исподволь сообщимое, он вечно создается, притом так, что законы этого создания определены, но объем и некоторым образом даже род произведения остаются неопределенными»; он, следовательно, есть *ἐνέρων*, *αὐτενέργεια*, нечто постоянно создающееся. Этим объясняется явление, кажущееся на первый взгляд странным, что произведения грубых и темных веков оказывались высокохудожественными в глазах людей просвещенных. Однако ничто не вечно: есть условия, при которых способ-

ность понимать поэтические произведения исчезает и связь поэтических образов с действительностью в смысле совокупности наших реальных представлений становится настолько темна, что для понимания этой связи требуются комментарии.

Таким образом, возвращаясь к ходячему определению, утверждающему, что художественные произведения есть только соответствие идеи и образа, заметим, что это — мысль непонятная и что гораздо было бы понятнее, если бы было сказано, что значение образа беспредельно, ибо практически назначить ему предел нельзя, как нельзя его назначить применению поговорицы. С этой точки зрения странны притязания критиков, требующих, чтобы поэтическое произведение говорило именно то, что вздумается им сказать. Камень, брошенный в воду, рисует круги на поверхности воды, и мы, однако, не можем по кругам судить о величине камня.

VIII

Итак, поэзия и проза представляют только усложнение явлений, наблюдаемых в отдельном слове. В этих усложненных процессах человеческой мысли есть полное соответствие этим явлениям. Словесное произведение, в котором для значения существенно необходим образ, или, другими словами, словесное произведение, которое служит для преобразования мысли посредством конкретного образа, есть произведение поэтическое. Еще иначе: поэзия, рассматриваемая как деятельность, есть создание сравнительно обширного значения при помощи единичного словесного образа. Здесь необходимо указать на основное условие существования поэзии, вне чего поэзия превращается в прозу, а именно: иносказательность, аллерию, в обширном смысле этого понятия. На это, пожалуй, могут возразить: «Где же иносказательность или аллерию в таких поэтических произведениях, как «Евгений Онегин»? Ведь здесь поэт прямо рисует нам действительность, как она есть». Но все поэтические лица имеют для нас значение настолько, насколько они помогают нам группировать наши собственные наблюдения. Одна из форм подобной группировки состоит в том, что обрисованное поэтом лицо заставляет меня воскликнуть: «А это мне знакомо! Я такого встречал». Но ведь такого, в сущности, я никогда не встречал, и в этом смысле поэтический образ все-таки представляет иносказание. К этому определению поэзии следует прибавить параллельное ему определение прозы. Оно дано уже в том, что сказано о слове. Категории поэзии (кроме внешней формы) — образ и значение; категории науки и ее словесной формы — прозы суть: частный случай (факт) и общее положение (закон). Категории прозы на поминают только категории поэзии образ и значение, но во многом от них отличны. Чтобы наглядно представить себе, чем отличается прозаическая форма от поэтической, следует переделать поэтическое произведение в прозу.

Такая «переделка» не касается превращения стихотворной речи в нерифмованную и немерную, а нечто другое. Возьмем, например, любую образную поговорицу: «своя рубашка ближе к телу» или «рубашка ближе к телу, чем кафтан». Это изречение есть поэтическое произведение только до тех пор, пока оно иносказательно. Прозаическая его переделка будет состоять в том, что мы или отсечем от образа его значение и тогда образ обратится в частный случай, или же устроим образ и оставим одно отвлеченное положение, которое можно формулировать так: эгоизм, субъективизм. Каждый раз, когда мы превращаем таким образом поэтическое произведение, когда мы вместо образа и значения, тесно между собою связанных, оставляем только одно, — каждый раз мы получаем в результате или выражение частного факта, или общего закона. Что же в таком случае есть прозаическое мышление? Это — мышление в слове (а можно думать и не словами, а музыкальными звуками, цветами, очертаниями), при котором значение (частный факт или общий закон) выражается непосредственно, без помощи образа.

Наука стремится к отождествлению закона с фактом — другими словами, к тому, чтобы каждый раз то, что мы называем фактом, рассматривалось с тех сторон, совокупность которых тождественна с законом. Данный треугольник может быть рассматриваем с бесчисленных точек зрения, но каждый раз мы рассматриваем его лишь с известной стороны, например, с точки зрения равенства внутренних углов двум прямым. Такое равенство или отождествление факта с законом есть стремление всякого знания. Если приводимый частный факт говорит не то, что общее положение, значит, произошла ошибка.

С этой точки зрения можно сказать, что поэзия есть аллегория, а проза е с т ь т а в т о л о г и я или с т р е м и т с я с т а т ь тавтологией (слово, точно выражающее то, что называется математическим равенством).

Это — идеал всякой научной деятельности.

Далее, мы видели, что в языке в отдельном слове форма без представления есть вторая ступень, возникающая из первой и без нее невозможная. Заклучая по аналогии, следует ожидать, что наука должна органически возникать из поэтического мышления. Поэтическое мышление есть *præius*, без которого прозаическое мышление, как *posterius*, не может существовать. Если это положение верно, то мы получим совсем другой взгляд на мнения, высказанные Максом Мюллером. Некоторые думали и думают, что поэтическое мышление есть такая ступень, которая может быть пережита, и в истории литературы искали указаний на падение поэтического творчества. Если бы это было справедливо, то какие последствия это имело бы для языка? Так как всякое новое слово есть поэтическое произведение, то в отношении языка это значило бы, что чем далее, тем менее возможности возникновения новых значений, понятий. На самом деле история литературы не подтверждает предположения о падении поэтического творчества. Наблюдения за ходом развития как отдельных личностей, так и целых народов подтверждают то положение, что обе формы мышления (поэтическое и научное) не раз, а постоянно находятся в таком взаимодействии, что первая способствует образованию второй, а вторая, раз образовавшись, усложняет и усовершенствование новых-поэтических образов.

Можно проще сказать: известные поэтические произведения (например, исторические романы В. Скотта, «Капитанская дочка» Пушкина), может быть, действительно были толчком к научным исследованиям, но сами они предполагают известную степень научной (в данном случае исторической) подготовки, — следовательно, так сказать, рождаются из науки; далее, возбужденные или новые научные исследования усложняют то, что новейшие поэтические произведения уже будут сложны и совершенны. Вот почему исторического романа, который был бы совершенно таков, каковы романы В. Скотта, нельзя ожидать в наше время; если бы кто написал роман совершенно в вальтерскоттовском вкусе, то его вряд ли кто стал бы теперь читать. Но это не значит, чтобы талант В. Скотта был дюжинный; живи он в наше время, он сам стал бы писать иначе. Даже произведения не столь талантливых современных писателей превосходят его сочинения во многих отношениях.

Итак, если будет доказано, что между обеими формами мышления существует такая зависимость, что поэзия есть высшая форма человеческой мысли, что самая проза возникает из поэзии и невозможна без нее, то ясно, что, переведя научную деятельность в сферу чуждого языка, мы этим ослабим свою поэтическую деятельность, а косвенно лишим плодотворности и будущую научную деятельность.

Печатается по изданию:

Потебня А. А. Мысль и язык: Полное собрание трудов. М.: Лабиринт, 1999. С. 199–236.

Андрей Белый

МЫСЛЬ И ЯЗЫК

(Философия языка А.А. Потебни)

Есть имена ученых, слава которых далеко опережает ученые их труды; quasi-научное обоснование общей мысли, разделяемой всеми, нравится более, нежели строго научное обоснование мысли новой и оригинальной; если мысль эта облечена в резкую парадоксальную форму, она встречает насмешки, глумления; такова была мысль Ницше о происхождении греческой трагедии; встреченная хохотом, все же она собрала вокруг базельского философа небольшую группу людей; она и слепила, и отталивала; вокруг имени Ницше впоследствии закипела борьба; в шуме борьбы тяжелый молот непризнания, раздробляя новую мысль, все же сковал из нее булат; новая мысль получила распространение.

Если же мыслитель высказывает глубоко оригинальные взгляды в скромной, незатейливой форме, пытаясь подтвердить воззрения свои не ослепляющими парадоксами, а тяжелыми многотомными фолиантами, как часто надолго его постигает забвение; несколько специалистов, без сомнения, откроют его в пыли музеев и библиотек, чтобы сделать ссылки в соответственных выносах и комментариях к своим трудам; и только новая, нужная, быть может глубоко революционная мысль долго будет таиться под спудом; она даже покроется пылью обыденности; добросовестные исследователи просмотрят, быть может, ее необычное содержание; в интересе к частностям исследования растворится руководящая мысль. Но с тем большим восторгом последующая эпоха увидит в обычном необычное; искристый свет заблестит жизнью из пыли архивов.

Много и долго писал А.А. Потебня. И читали, пожалуй, его немало; а между тем просмотрели в нем замечательного ученого; в его сухих грамматических исследованиях видели добросовестность; просмотрели огромный талант; в его небольшой, сжатой теоретической книге «Мысль и язык» усматривали неясность, неудобочитаемость; дерзновение — просмотрели. И только недавно как бы вновь открыли его труды; с изумлением мы находим там ответы на наиболее жгучие вопросы, касающиеся происхождения и значения языка, мифического и поэтического творчества; западноевропейская наука в лице Макса Мюллера и Нуаре лишь впоследствии коснулась вопросов, им впервые намеченных; современные художники видят у него обоснование и развитие их мыслей. А.А. Потебня не только один из величайших русских исследователей; его по справедливости можно назвать одним из наиболее выдающихся европейских лингвистов. Отчетливость мысли сочетается в нем с многосторонностью освещения; дерзновение выводов с серьезной их обоснованностью; богатство и разнообразие мысли тонет в еще большем богатстве фактов, им подобранных; самостоятельность как бы прячется под маской им приводимых цитат.

И если гордостью русской науки считаем мы Менделеевых, Лобачевских, Мечниковых, Пироговых, то отныне к славному ряду имен должны мы присоединить и имя А.А. Потебни.

* * *

Здесь приводим ход мыслей в небольшой сравнительно с другими сочинениями Потебни книге его «Мысль и язык»¹. В ней развивает автор основные взгляды свои о происхождении и генетическом развитии речи; в дальнейших своих трудах,

¹ Мы пользуемся харьковским изданием 1892 года.

главным образом в «Записках по русской грамматике» (III капитальный тома) и в труде «Из записок по теории словесности» автор детализирует свои взгляды, подкрепляет их филологическим, лингвистическим и историко-литературным анализом слов, фигур и тропов речи.

Потебня ставит себя в зависимость от теории о происхождении языка Вильгельма Гумбольдта; не соглашаясь с последним во многом, он все же определенно считает себя продолжателем Гумбольдта; в противоположность теориям о сознательном изобретении языка он развивает теорию о произвольном развитии языка из бессознательных психических импульсов человека. Потебня подчеркивает необходимость бороться с указанными выше теориями, потому что они, многократно опровергнутые, под многообразными личинами воскресают снова и снова; он стремится низвести к минимуму все элементы врожденности в речи; если сравнить теории о происхождении языка с психофизиологическими взглядами на происхождение пространственных восприятий, то и в этих теориях мы встретим своего рода борьбу нативистов с генетистами. А.А. Потебня во взглядах на происхождение речи думает, что он генетист; ниже мы постараемся доказать, что это вовсе не так.

Свою точку зрения на язык устанавливает Потебня на критике теорий Беккера и Шлейхера, а главным образом на дополнении данными гербартианской психологии теорий Вильгельма Гумбольдта.

Прежде всего он нападает на сочинение Беккера «Organism der Sprache», пользуясь часто разбором ее Штейнталем (см. книгу этого последнего «Grammatik, Logik und Psychologie»). Беккер развивает мысль о том, что язык есть своего рода «о р г а н и з м»; Потебня доказывает, что это слово равно ничего нам не разъясняет; «органическое существо, — говорит Беккер, — представляется... как бы воплощенной мыслью природы». «Но в мире, — отвечает Потебня, — мы находим только частности, только воплощенные уже особенности, а „мысль природы“ есть, очевидно, не более, как общее понятие, к которому мы возводим частные явления. Такому обобщению может быть подвергнуто все без исключения; а потому под приведенное определение подходит и живой организм, и мертвый механизм» (Мысль и язык, стр. 10). Основная ошибка Беккера заключается для Потебни в рассмотрении Беккером явлений природы, как воплощений их идеи; средства Беккер смешивает с целью; это все равно, — замечает Потебня, — как если бы кто определил грамматику таким образом: «Грамматика есть наука» (общее понятие), «составляющая одно из произведений деятельности человеческого ума» (понятие, которое должно бы быть частным, но есть общее, потому что не всякое произведение ума есть наука)» (стр. 12). Назвать язык организмом, для Потебни, значит не сказать ничего равно². Органы слова, по Беккеру, могут возбуждаться только духовною деятельностью; человек, по Беккеру, говорит по законам той же необходимости, по какой и дышит; для Потебни объяснение образования речи сравнением ее с дыханием не говорит ничего равно; перенесение закона физиологии на язык есть недопустимое смешение; методы процессов изучения речи и методы научной физиологии несоизмеримы. Исходя из мысли Беккера о тождестве мысли и языка, Потебня устанавливает необходимость признания при этом существования понятий до слова; а в последнем случае Беккер, по мнению Потебни, должен видеть в языке изобретение человеческого сознания; желая видеть везде необходимость, Беккер «видит т о л ь к о п р о и з в о л ь»³, слияние мысли и слова оказывается в таком случае их произвольною связью; дальше следуют блестящее

² Стр. 15.

³ Стр. 17.